Павел Бажов

# У старого рудника

Из пяти заводов б. Сысертского горного округа Полевской был единственным, где мне не приходилось жить и даже бывать до одиннадцатилетнего возраста.
Однако об этом заводе, который в нашей семье обычно звали старым, слыхал довольно часто. Отец был родом из этого завода и по паспорту числился крестьянином Полевской волости и завода. Там он, как полевской общественник, имел право на Покосный надел, но никогда этим не соблазнялся. К жизни в Полевском заводе всегда относился отрицательно, даже с насмешкой:
- Глухо у них. Здесь в Сысерти при большой дороге живем. Чужой народ мимо ездит. Все-таки веселее, как поглядишь. А у них кому проехать? В город и то по-доброму-то дороги нет. Как ехать, так и гадать: то ли через Кургановку, то ли через Макаровку, то ли еще как.
И стоянка у них в беспорядке. Не как у нас - улицы по ниточке, а кто где вздумал, тут и построился. На Большой улице и то порядок вывести не смогли: то она уже, то шире. В одном месте и вовсе насмех сделано. Идешь- идешь - в дома упрешься... Пойдешь вдоль этих домов, да и воротишься близко к тому месту, откуда пошел. Штанами это место зовут. Штаны и есть.
Про фабрику тамошнюю да медеплавильный говорить не осталось. У нас старье, а у них вовсе ветхость.
Бабушка была "коренных сысертских родов", но в молодости попала "в число обменных девок, коих отправили на старый завод для принятия закону с тамошними парнями".
Об этом "случае" своей жизни бабушка рассказывала не особенно охотно:
- Не знаю, к чему и применить такую штуку. Видно, полевских девок нехватало. Их, видишь, с малолетства на Гумешки наряжали, а потом по дальним рудникам да приискам рассовывали. На Кунгурку тоже порядком прудили. Как раз в те годы эта деревня заводилась. Наших девок, значит, на их место и везли. Когда телег пять, когда больше. Не по один год это было. Как успенье пройдет, так и объявится этот девий набор на старый завод. Сирот, конечно, в перву голову хватали. Ну, и отецких задевало. Стражников еще пошлют с возами-то, чтобы которая не убежала. А кто убежит, коли все без ума ревут. Слезная в ту сторону дороженька! Слезная... Вся девичьими слезами полита.
- То, видно, и не просыхает никогда у Большой-то елани, - пошутил как- то отец.
И бабушка, обычно всегда спокойная и добродушная, даже разгорячилась:
- Постыдился бы при ребенке такое слово говорить! Не шуточно, поди-ка, дело хоть бы и девичья слеза!
Отец откровенно сознался:
- Так это у меня... не то слово вылетело.
- А ты их придерживай - слова-то свои. Дело, конечно, прошлое, а все шутить не годится. Хорошо вот я усчастливилась, согласно со стариком прожила. Так ведь это редкость. А сколько народу загинуло из-за этой штуки! Не слыхал?
- Да ладно, мать... Знаю... Говорю - пустое слово вылетело, - оправдывался сконфуженный отец.
Привезенная в Полевской завод таким диким способом, бабушка "приняла там закон, с кем указали", прожила свыше двадцати лет, вырастила детей, но все-таки, как видно, "не вжилась". Едва ли бабушка и не была главной виновницей того, что дед, как только пало крепостничество, перешел из медеплавильщиков в доменщики и переселился в Сысерть.
Однако о Полевском бабушка говорила много мягче отца:
- Завод как завод. Такие же люди живут. Только в яме против нашего пришелся. Медная гора у них- Гумешки-то эти - место страховитое, а так ничего. Лес кругом, и ягод много. Кроме здешних, там еще морошка растет. Желтенькая ягодка, крепкая. И в лесу у них не все сосны да березы, а ельник да пихтач есть. Дух хороший от пихты-то. Нарочно ее к большим праздникам привозят.

Разбросишь по подлавочью - ох, хорошо пахнет! Ну, и чесноку по тамошним местам много. Вроде огородного бутуну, только потверже будет. Весной, как он молодой, целыми мешками его таскают да солят. В петровки, глядишь, из этого соленого чесноку пироги пекут. Славнецкие пироги выходят, только душище потом, как наедятся экого места. Прямо в избу не заходи, коли сама не поела. За это вот полевских и дразнят чесноковиками. А он на пользу человеку, чеснок-то этот. Болезнь будто всякую отгоняет. Скотских падежей у них вовсе не слыхано. И все, говорят, из-за чесноку. Ну, конечно, молока весной тоже не похлебаешь. Горчит оно.
Меня больше всего интересовала Медная гора, но ясности в этом пункте было меньше всего. Отец скупо объяснял:
- Да рудник же это. Малахит раньше там добывали. Только работали не вскрышей, как вот на Григорьевском либо на Каменной горке, а шахтами, как на Скварце. Видал ведь? Теперь эти шахты затопило. В забросе рудник, а говорят -малахиту там еще много осталось.
Бабушка на вопрос о Медной горе отвечала:
- Самое это проклятущее место. Сколь народичку оно съело! Сколь народичку! У моей-то золовушки парня всвсе в несовершенных годах гора задавила. А девчушка ней - у золовушки-то - на этой же горе сгорела. Вовсе себя потеряла, - как без ума сделалась. Бегает да кричит, и понять нельзя. Брата-большака у моего-то старика тоже гора изжевала. Семью осиротил. Пятерых оставил. Кум Матвей, на что здоровый мужик был, и того уродом гора сделала: плечо ему отдавила...
После длинного перечня задавленных, изжеванных, покалеченных бабушка неизменно добавляла:
- Вспоминать-то про это неохота. Как жили там, так вовсе в ту сторону и не глядела, где эта самая Медная гора.
По этим рассказам у меня в раннем детстве сложилось самое дикое представление о Полевском заводе, как об огромной яме, в которой рассованы как попало дома. Вокруг ямы какой-то невиданный лес с хорошим запахом. Вместо травы в нем растет чеснок и желтая крепкая ягода, которую, видно, надо раскусывать, как орех. В стороне от заводской ямы большая гора с тусклым, как у давно нечищенного самовара, блеском. По форме гора похожа на лежащего медведя, вроде той медной фигурки, какую приходилось видеть на подоконнике надзирательского дома. По горе мечется босая девчонка в лохмотьях и дико кричит, как обожженная. Внизу стоит человек без плеча, а перед ним малахит. Тот красивый камень, который я знал тогда по черенкам двух праздничных вилок.
С годами это представление изменилось, но все же "старый" завод продолжал казаться каким-то необыкновенным, а Медная гора даже страшной.
Впервые пришлось поехать в Полевской завод, когда мне было одиннадцать лет. В этот год отец долго ходил без работы. Лишь во второй половине лета, придя домой, объявил:
- На старый завод нарядили.
Большой радости, однако, в этих словах не слышалось. Из дальнейшего разговора выяснилось, что в Полевском заводе работа идет с большими перебоями. Мама даже усомнилась:
- Живут же чем-то?
- Тем и живут, что по огородам ямы бьют, - ответил отец и пояснил: - У полевчан ведь это привычка: как есть нечего, так и пошел по огородам золото добывать.
Этот разговор, помню, встревожил меня, но сначала эту тревогу заглушила другая мысль. По случаю вчерашней ссоры со своими близкими товарищами по улице не без торжества подумал: "Не обрадуются, как скажу им, что на старый завод уезжаем. Сразу, небось, запоют: "Давай мириться! Давай мириться!" А я им еще про огороды тамошние скажу, как там золото добывают! Пусть вперед не задаются! С Петькой и вовсе мериться не стану. Попомнит, как заединщикам носы разбивать! До крови!"

Но эта мстительная мысль сейчас же сменилась другой - тревожной.
"А как же там? Один-одинешенек? На старом-то заводе?"
Петька перестал казаться таким ненавистным.
"Он, может, нечаянно. Сорвалась рука, - мне и попало по носу".
Так и вышло. Все мои товарищи сейчас же безоговорочно помирились со мной, как только узнали о моем отъезде. Петька даже превзошел мои предположения. Он со свойственной ему горячностью стал доказывать, что не столько у него рука сорвалась, сколько мой нос не во-время подсунулся. Подсунулся, впрочем, нечаянно, и винить меня в этом тоже никак нельзя.
Конечно, в другое время можно было бы еще поспорить - мой нос или его рука виноваты, но тут было не до того. К моему отъезду Петька отнесся с особым участием и придумал устроить по этому поводу "некрутские проводы".
Отец уехал с обратным возчиком в Полевской завод, мама стала "собираться", а у меня начались хлопотливые дни. Надо было проститься со всеми любимыми местами, выкупаться по разным уголкам заводского пруда, кой с кем "додраться", кой с кем помириться на прощанье. Надо было переиграть во все летние игры не только в своем околотке, но и с "низовскими" и с "верховскими" ребятами своей улицы.
Ходил я тогда "некрутом". Несмотря на жаркую погоду, не снимал шапки с прицепленным к ней матерчатым цветком, который Петька самоотверженно стянул с "венчальной иконы" своей матери. И все-таки мне не было весело. Чувствовалось, что для моих товарищей проводы были новой занятной игрой, а для меня это было действительное прощанье со всем милым и дорогим. Необыкновенная уступчивость и даже "прямая поддача некруту" в играх лишь острее напоминали - а как там... на старом-то заводе?
Ближайший к Сысерти участок дороги на Полевской и Северокий заводы был хорошо известен. Сюда летом с ребятами ходил за черникой, осенью - за опятами. В той же стороне в те годы отводились лесосеки для заготовки дров населению, и ребята ходили и ездили сюда с отцами. Случалось бывать и дальше - до Северского завода, но лишь по зимнему пути.
Дорога не была безлюдной, но движение по ней носило чисто заводский, производственный характер. Из Сысерти чаще шли обозы порожняка; иногда везли металлический лом для мартеновского производства Северокого завода и другие случайные грузы. Обратно из Северского везли чугун для Верхсысертского и мартеновскую болванку для Ильинского листокатального завода.
Здесь приходится сказать попутно об особенностях хозяйства б. Сысертского горного округа. Имея три завода (Сысертский, Верхсысертский, Ильинский) на восточном склоне Урала и два завода (Северский и Полевской) на западном склоне, заводоуправление находило выгодным для себя обслуживать переделочные заводы восточной группы чугуном и мартеновскими слитками из заводов западной группы.
Правда, Урал здесь сильно понижен, но все же это была горная дорога, притом совсем плохо сделанная. По такой дороге на лошади средней силы можно было увезти не больше двадцати - двадцати пяти пудов.
Такая непонятная, на наш современный взгляд, переброска полуфабрикатов через Урал, на сорок - пятьдесят километров от места производства, имела свое объяснение.
Прежде всего владелец заводов и слышать не хотел о каком бы то ни было новом строительстве. Сумма в четверть миллиона рублей, которая ежегодно снималась с заводского бюджета под названием владельческой прибыли, полностью расходовалась владельцем и его семьей, мотавшейся где-то за границей, а заводы должны были приспособлять производство к старому оборудованию. Кроме того, многочисленные заводские перевозки были нужны заводоуправлению, как "судебный

повод" в деле, которое тянулось чуть не с семидесятых годов. Заводское население, ссылаясь на то, что посессионер не выполняет своих обязательств - не обеспечивает заводскими работами население, проживающее на территории заводского округа, требовало выделить часть земель под пахотные участки.
Владельческие адвокаты в ответ приводили подсчеты, доказывая, что население полностью обеспечено и даже не справляется с заводскими работами. Видное место в этих адвокатских подсчетах занимали пудо-версты перевозок и старательские работы. Первые были удобны, так как всегда можно было доказать, что часть перевозок, особенно между Сысертью и б. Екатеринбургом, производилась крестьянами, жившими вне заводского округа. Старательские же работы были и того удобнее: сколько вздумаешь, поставь, - проверить нельзя.
Адвокат со стороны заводского населения - какой-то "дворянин Эйсмонт", вероятно тоже состоявший на службе у владельца, оспаривал эти подсчеты, а по существу затягивал дело, и положение оставалось таким же, каким оно было при крепостничестве. Население заводских поселков пользовалось лишь покосными участками, а пахотной земли вовсе не имело. Заводская дача, в которой считалось 239 707 десятин (свыше 260  000 га или 2600 квадратных километров), оставалась в полном распоряжении заводоуправления.
К этому надо добавить - заводское начальство было уверено, что население, привязанное к месту домишками, покосами и микроскопическим хозяйством, не разбежится, если его еще слегка придерживать такими поводками, как перевозка и право "искаться в земле". Последнее на официальном языке называлось правом разработки золотоносных россыпей.
И заводское начальство не ошиблось. Население, особенно в Полевском заводе, несмотря на давнюю заброшенность этого завода, упорно держалось за родные места. Может быть, это упорство в какой-то мере поддерживалось и многочисленными, оставшимися еще от крепостной поры легендами о "земельных богатствах".
Люди верили в это и ждали, что "опять загремит наша Полевая", а пока, руководствуясь только практикой стариков-старателей да кладоискательскими приметами, "бились в земле", переворачивая миллионы кубометров песков. Причем эти миллионы чудовищно преувеличивались владельческими адвокатами как "судебный повод". Те из полевчан, которые разочаровались в песках, "держались за лес": заготовляли бревна, дрова и древесный уголь для соседнего Северского, а иногда и для Сысертского заводов - либо по "убойной дороге" везли чугун и мартеновские слитки.
Заводское начальство могло быть спокойно: дешевая, рабочая сила на подсобных работах и бесперебойная перевозка грузов были обеспечены. Не надо было думать ни о спрямлении, ни даже об исправлении дороги.
Например, от Северского до Верхсысертского по прямой было не больше тридцати верст. Грузов здесь проходило больше всего. Проложить тут дорогу по просекам, с использованием существовавшего моста через Чусовую было совсем легко: требовалось лишь расширить просеку, перебросить пару мостиков через мелкие речушки да проканавить подсыхающую часть болота. Однако даже попытки такой не было, и люди везли груз по круговой дороге через Сысерть, делая свыше пятидесяти верст.
Во время своей первой поездки я, разумеется, не знал того, о чем написано выше. Привыкший в уральских условиях ко взгорьям и спускам на любой дороге, я тогда даже не заметил, что здесь был перевал из одного водораздела в другой. По-ребячьи лишь почуял, что после Липовского увала произошла какая-то перемена. Как будто до этого растительность была строже, суровее, а за Липовками стала мягче, кудрявее; появились бабочки неизвестной мне окраски; среди привычной зелени сосняка замелькали и бледнозеленые листья кустарниковой липы (липняка); показались

первые ели.
Крепко засели в памяти две дорожных стлани. Одна покороче, другая- ее и звали Долгая стлань - тянулась верстами. Это был настил из жердей по затопляемым весною участкам дороги. Настил делался, небрежно, из жердей разной толщины, очевидно, с расчетом, засыпать этот настил сверху песком. По отдельным островкам можно было видеть, что такая засыпка и производилась когда-то, но очень давно не подновлялась. Не только ездить, но и ходить по такому настилу из подпрыгивающих или исковерканных жердей было трудно.
Другое, что привлекло внимание, - это пустынность края. На протяжении сорока пяти верст имелась лишь одна приисковая деревушка Косой Брод, где был мост через реку Чусовую. Кроме этой деревушки, был еще Липовский кордон -что-то вроде станции для возчиков чугуна и мартена. Этот кордон был как раз на половине пути от Северского до Сысерти.
Чусовая, о которой я слыхал, как о главной реке "Полевской стороны", произвела обратное впечатление: стал вслух удивляться, зачем над такой речонкой построен большой и высокий мост.
Обратный возчик, с которым мы ехали, усмехнулся:
- Мы вот, как весной ездим, так другое говорим. Такой ли мост на этой реке надо! Того и жди, - разнесет по бревнышку. А им что! Сами, небось, в эту пору не ездят, а до нашего брата им и дела нет.
Я прекрасно понимал, что они - это заводское начальство, привык слышать, что всегда начальство старается сделать во вред рабочим, но здесь мне показалось требование чрезмерным.
- Над такой-то речонкой! Да у нас в Сысерти около Механического пруда вон какая ширь, а мост меньше здешнего.
- Не спорь-ка ты, не спорь! - вмешалась мама. - У нас ведь мост над спруженным местом, а здесь вольная река. Сама хоть не видала, а слыхала, что весной она сильно бушует.
- Того вон места не видать, - показал возчик на далекие кусты вправо от реки.
Я просто не поверил этому и по-ребячьи подумал:
"Задается своей Чусовой, а тут и лошадь искупать негде!"
После Чусовского моста дорога расходилась: вправо - хорошо накатанная, даже избитая - в Северский завод, прямо - в гору, такой же ширины, но какая-то зарастающая, похожая на зимник, шла дорога "на старый завод".
II
;
Как-то потом, в более позднем возрасте, мне пришлось "искать по приметам" один дом в Мраморском заводе.
Знакомый кустарь, приглашая к себе, говорил:
- Мой-то домок легко найти. От всех он на отличку. На мраморе поставлен, мрамором прикрыт, с боков столбы, а посредине окошко вроде венецианского. Не ошибешься, небось. Хоть не широко живу, зато у всякого на примете.
Казалось, что найти такой заметный дом в маленьком Мраморском поселке вовсе не трудно. На деле оказалось не так. Дважды прошел по единственной тогда улице поселка, но ничего похожего не увидел. Удивился, когда проходившая женщина показала пальцем на неказистую хибарку с единственным окошечком.
Только приглядевшись, понял, в чем тут дело: точные приметы указывались в шутливом тоне, а были приняты всерьез.
Избушка, верно, была "совсем на отличку" от всех других построек завода.
Стены были связаны не в угол как обычно, а сложены в столбы, как забор. Нижние бревна опирались на подобие фундамента из обломков серо- грязного камня. Крыши привычного вида

избушка не имела. Сверху настланы были тонкие драницы, а чтобы их не сбрасывало ветром, на них наворочены были крупные обломки того же серо-грязного камня, что и внизу. Даже окошко, пожалуй, было можно назвать венецианским: ширина у него была горавдо больше высоты.
Мой мраморский приятель, несмотря на последнюю стадию чахотки, был неизменно веселый человек. Услышав о моих поисках, он сначала расхохотался, потом стал делать шутливые предположения:
- Искал, значит, дом на мраморном цоколе? Крышу из мраморной плитки? В голубой тон? Окошко в сажень ростом? По цоколю, поди, чеканку глядел? Самыми крупными литерами пущено: "Здесь проживает, нисколь горюшка не знает надгробных дел мастер Иван Степаныч Свешников". А внизу, в венчике: "Плиту делаю на совесть: живому не в силу, мертвому вовсе не поднять. Милости просим, го-го, заказчики".
Посмеявшись над моим легковерием, уже в "учительном тоне" добавил:
- Нет, друг, такого у нас не водится, чтобы сделанный камень дома держать. Как кончил работу, так и сдаешь поскорее заказчику либо в город везешь. Там у нас есть благодетели: чуть не даром принимают, а сдаешь - не обратно же везти. Дома-то у нас только обломки камня остаются. Этого добра девать некуда. Придумали вон на дорогу валить - мостим будто. Ну, свои-то помалкивают, а кому со стороны случится проезжать по нашим дорогам, те ругаются: испортили дорогу остряком! Лошадь может ноги извести, да и колеса разбиваются.
Кончил все-таки шуткой:
- Вот и угоди людям! Того не понимают, что наши дороги чистым мрамором деланы. Только будто не пошлифованы и воском не натерты.
Этот забавный случай остался в памяти, как пример разрыва между действительностью и представлением, составленным с чужих, неверно осознанных слов.
Такой же - помню -разрыв получился и тогда, при первом моем знакомстве с Полевским заводом. Все было так, как мне говорили, и все-таки нисколько не походило на то, как я себе представлял. Прежде всего никакой заводской ямы не оказалось. Главная часть заводского поселка была расположена на довольно ровном месте, ниже заводской плотины. В Сысерти и в Северском мы жили на улицах, которые с нагорья опускались к заводским прудам. Это создавало известный простор, осветление, воздушную перспективу. Здесь, в узких, длинных улицах, упиравшихся одним концом в насыпь плотины, казалось глухо, как в яме.
Вскоре стало понятно, что Полевской завод можно было назвать тогда ямой и в другом смысле, как очень глухой угол. Железной дороги в Челябинск тогда еще не было, и завод стоял "на отрыве" от других населенных пунктов. Заметное движение было лишь между Полевским и Северским заводами, но и это движение было односторонним: ездили только полевчане. Туда возили уголь и дрова, оттуда мартеновские слитки. По этой же дороге, через Северский завод, везли "в город" (б. Екатеринбург) готовые изделия: железо и штыковую медь. Дальнейшее направление "городской дороги" определялось мостом через Чусовую в селе Кургановском и селом Горный Щит. Через Курганову, впрочем, ездили лишь в весеннюю пору, а летом, когда Чусовая мелела, и зимой всячески "спрямляли" дорогу. Было ли тут действительно спрямление, судить не берусь. Несомненно одно, что все виды лесных дорожек одинаково не походили на тракт и одинаково выводили к Горному Щиту. Здесь обычно полевские возчики металла делали остановку на ночлег, ранним утром уезжали в б. Екатеринбург и, сдавши там груз, к вечеру вновь приезжали сюда на вторую ночевку. Может быть, это был своего рода исторический пережиток от того времени, когда обозы железа и караваны меди еще отправлялись под вооруженной охраной до крепости Горный Щит.
Считалось, что по "городской" дороге шло движение через Полевской завод на Уфалей, Касли и

Кыштым, но в действительности этого не было: туда предпочитали ездить из Екатеринбурга по тракту через Сысерть, а из Полевского ездить в Уфалей было некому и незачем.
На запад от Полевского не было даже и проселочных дорог. В этой стороне Сысертская заводская дача смыкалась с наиболее слабо освоенными участками Ревдинской и Уфалейской. Все это место, свыше тысячи квадратных километров, было занято лесом, который потом переходил в лесостепь по речкам Нязе и Бардыму, уже Уфимской, а не Чусовской системы. Человеческое жилье в этом лесном участке можно было встретить лишь в виде покосных балаганов, охотничьих избушек да землянок углежогов. В засушливые годы, когда предвиделся недостаток кормов, полевчане пробирались на нязинскую лесостепь и там "пользовались", то есть заготовляли сено, которое с большим трудом можно было вывезти лишь по санному пути. На Бардым ездили за малиной. Ее было так много, что заготовка носила промысловый характер.
Тележные дороги в западном направлении, конечно, имелись, но были так трудны, что чаще отправлялись туда пешком или на верховых, и в Полевском заводе , не в пример другим заводам Сысертского округа, вовсе не редкость было видеть женщину в мужском седле.
Такой оказалась в действительности полевская "заводская яма", где обособленно, почти не видя "посторонних", жило свыше семи тысяч населения.
Пришлось исправлять свое представление о Полевском заводе и по остальным разделам. Беспорядок в планировке улиц был больше в Заречной части, "по горе". В огородах старательских дудок было не видно, но вблизи заводского поселка было много перемытых и разрабатываемых песков. Пахучий пихтач оказался вкраплением в сосновые леса привычного для меня вида. Чтобы найти дикий чеснок, надо было знать места, где он растет. "Крепкая ягода морошка" оказалась лишь твердоватой и не особенно вкусной.
Фабричные здания, на мой взгляд, ничем не отличались от тех, что я видел по другим заводам округа. Обращала на себя внимание лишь работавшая еще тогда медеплавильня. Это было низенькое, похожее на большую кузницу здание с необыкновенно толстыми каменными стенами. В медеплавильне было довольно темно, но все-таки на одной из стен вблизи узкого окна можно было прочитать надпись на чугунной доске. Тут говорилось, что завод основан в 1702 году по распоряжению думного дьяка Виниуса.
Помню, тогда меня очень занимало участие в заводском деле дьяка, которого я отождествлял с церковными дьячками, но мои исследовательские попытки не имели успеха. Взрослые отмахивались от этого вопроса, как от пустякового.
- Ну, мало ли что напишут. Может, был какой-нибудь, а может - и вранье одно.
Только один из моих полевских сверстников сделал удовлетворившее меня предположение:
- Что ты думаешь? Из дьячков-то ведь дошлые бывают. Вон при здешней церкви один есть - еще зубы ему вышибли... Так он, сказывают, лучше всех блесенки мастерит. Вот и узнай их, дьячков-то! И тоже пьяница несусветная. Не лучше этого. В вине уса-то!
Впоследствии я мог догадаться, что мемориальная доска с именем А. А. Виниуса была чем-то вроде грачиного гнезда английских аристократических парков. Там, как рассказывал Диккенс, очень дорожили грачиными гнездами, как признаком древности парка, а здесь владельцы уральских заводов непрочь были щегольнуть один перед другим давностью своих заводов. Имя Виниуса было поставлено вовсе зря: по его приказу в 1702 году было произведено лишь правительственное обследование открытого арамильскими рудознатцами Гумешевского рудника, постройка же завода началась уже при Геннине, в 1724 году.
Гораздо яснее, чем мемориальная доска, говорило о крепостной старине внутреннее оборудование медеплавильни. Особенно была заметна печь, в которой "томили" медь. Это был открытый сверху чугунный сосуд, в который с каждой стороны проходило по шесть тонких трубок-воздуходувок.

Чтобы очистить медь от нежелательных примесей, ее "дразнили": посыпав угольной мелочью расплавленную массу и до предела усилив дутье, совали сверху окоренный, но еще достаточно сырой березовый кол. Березовый сок сейчас же вызывал бурное кипение, и печь начинала "плеваться", "спускать пену". Когда печь "проплюется" и "медь" упореет, массу разливали по изложницам, где она и остывала небольшими плитками по полпуда (около десяти килограммов) весом. (пуд=16 кг. -пр.ск.) Почему-то эти плитки назывались штыками. В таких штыках медь и продавалась из заводских магазинов или увозилась в б. Екатеринбург.
Березовый кол, как оказывается, был бессилен отделить драгоценные примеси меди, но "медной пеной" все-таки интересовались. Взрослые приписывали ей целебные свойства, говорили, что она помогает при переломах, от грыжи и т.д. Ребятишки собирали остывшие металлические брызги - шарики - в качестве игрушек и менового знака. Эти шарики "медной пены" потом сортировались по величине и даже по цвету. За "пузырек" таких шариков давалось от пяти до десяти пар бабок. Выше всего ценились у ребят наиболее крупные шарики с беловатым оттенком. Говорили, что тут есть серебро, хотя это было неверно. Березовым колом, как оказывается, даже самый опытный мастер-практик мог "выдразнить" лишь такие мешавшие ковкости меди примеси, как кобальт, никель, висмут, мышьяковистые соединения, но не золото и серебро.
И без мемориальной фальшивки даже ребенку было понятно, что в медеплавильне все осталось таким, каким было в крепостную пору. Так же, вероятно, дробили руду окованными железом бревнами - пестами, таким же порядком "умельцы медного литья" "варили медь", с помощью березовых кольев "спускали пену" и, выждав, когда масса "упореет", вычерпывали ее ковшами и разливали по изложницам с той же заводской маркой - цапля. Разница была лишь в том, что тогда, в крепостную пору, здесь стояло несколько таких печей, а теперь работала, и то с большими перебоями, одна последняя. Наберут в отвалах Гумешевского рудника тысячу - две пудов руды, старые мастера превратят эту руду в медные штыки, и медеплавильня закрывается на неопределенное время. О восстановлении затопленного еще в 70-х годах Гумешевского рудника даже и разговора не было. Он считался безнадежно погибшим, а с ним умирало и медеплавильное производство.
Все-таки больше всего меня обманула Медная гора. Подъезжая к Полевскому заводу, я первым делом искал глазами эту Медную гору, которую так ясно представлял. Кругом завода было много обычных для Урала, покрытых хвойным лесом гор, но Медной горы не было. В Заречной части заводского поселка гора спускалась скалистыми уступами к речке. Уж не эта ли? Но возчик сказал, что это Думная, и пояснил:
- Тут, сказывают, Пугачев три дня сидел, думал. Оттого Думная и называется.
Это показалось интересным, но все-таки - где Медная гора? На вопрос об этом возчик указал пальцем направление и сказал:
- Не видно ее из-за домов-то.
От такого пояснения моя гора, конечно, много потеряла.
"Какая это гора, коли из-за домов не видно! Так, видно, горочка какая- нибудь!"
Когда же через несколько дней увидел Гумешки вблизи, то чуть не расплакался от обиды. Никакой горы тут вовсе не оказалось. Было поле самого унылого вида. На нем даже трава росла только редкими кустиками. На поле какие-то полуобвалившиеся загородки из жердей да остатки тяговых барабанов над обвалившимися шахтами. Возвратившись с Гумешек, с азартом стал "уличать" отца в обмане, но отец спокойно повторял свое прежнее объяснение:
- Я же говорил, что рудник это. Медную руду добывали. Значит, гора и есть. Всегда руду из горы берут. Только иная гора наружу выходит, а иная в земле.
- Тоже объяснил! Что это за гора, если ее не видно!

Бабушку я даже укорить не мог, так как она осталась "домовничать" в Сысерти. Написать ей письмо тоже было бесполезно: она была неграмотна.
- Вот какая! Сколько раз говорил: "Давай научу читать и писать. Давай научу!"
А она свое заладила: "Опоздала, дитенок. Седьмой десяток мне". Вот тебе и седьмой! А теперь бы как пригодилось!
Успокоился тем, что решил при первой встрече "как следует отчитать" бабушку за все: за Медную гору, за яму, за чеснок, за морошку. Но и это не удалось. Ко времени нашей встречи уже хорошо понимал, кто был виноват в неправильном представлении о Полевском заводе.

III

Полевский завод был первым по времени и едва ли не самым многолюдным в Сысертском заводском округе. Правда, в Сысертской волости считалось в 90-х годах свыше одиннадцати тысяч населения, но там это число приходилось на четыре поселка- Сысерть, Верхний завод, Ильинский и деревню Кашину. Здесь же волость состояла из одного заводского поселка, в котором жило свыше семи тысяч. Северская волость, куда входили Северский завод и деревня Косой Брод, была значительно меньше: в обоих селениях этой волости не насчитывалось и четырех тысяч.

Между тем фабричное оборудование в заводском округе к тому времени оказалось расположенным как раз обратно числу населения заводских поселков.

Лучше других было положение северчан. Там тогда действовали две доменных печи, одна отражательная, две мартеновских, две сварочных, одна газо-пудлинговая и одна листокатальная. Всего на Северском заводе было занято свыше пятисот человек. В переводе же на язык сравнительных цифр это значило, что на фабричной работе был занят каждый восьмой или даже седьмой человек.

В Сысертской части на одиннадцать тысяч населения приходилось две доменных печи, одна отражательная, восемь газо-пудлинговых, шесть сварочных, три листокатальных, две листораспарочных и две вагранки. Занято было тысяча сто рабочих, или один на каждый десяток населения.

В Полевском же заводе на семь тысяч населения имелось четыре пудлинговых, три сварочных печи да архаическая медеплавильная, в которой изредка "варились крошки старого рудника". Фабричных рабочих по заводу было меньше трехсот пятидесяти, или один на двадцать человек населения.

Понятно, что эта особенность завода сразу была заметна и одиннадцатилетнему мальчугану.

На довольно ходовой в ребячьем быту вопрос: "где у тебя отец робит?", в Сысерти обычно слышалось в ответ: "в паленьговой", "на сварке", "под домной", "на механическу ходит", "на Верхний бегает", "листокаталем на Ильинском". Здесь же чаще отвечали совсем по-другому: "куренная наша работа", "из жигалей мы", "на лошадях робим", "на лошади колотится", "на людей в курене ворочает", "так, по рудникам да приискам больше", "стараталь он", "золото потерял: пески переглядывает", "около мастерской кормится", "охотничает по зимам-то", "ремеслишко маленькое имеет".

Обычная в таких случаях ребячья гордость и похвальба слышалась разве у многолошадных да углежогов, остальные говорили невесело, иногда даже с пренебрежительной усмешкой, повторяя, очевидно, оценку взрослых в своих семьях.

В Полевском того времени, и верно, полудикую тяжелую, но относительно сытую жизнь вели лишь семьи, которые из поколения в поколение занимались углежжением. Обычно это были многолюдные и многолошадные семьи, которые большую часть времени жили в лесу. Летом "до белых комаров" заготовляли сено, и в остальное время года для всех было много работы по заготовке плахи, по укладке и засыпке куч. В работах принимали участие и женщины, и

подростки. Слова: "куренная наша работа", "из жигалей мы" - означали не только профессию отца, но указывали и на личное участие в этой "наследственной" работе. Впрочем, далеко не все подростки хвалились этой работой, чаще жаловались:

- Кожа к костям присохнет, как из куреня воротишься. Заморил нас всех дедушко. Ему бы только работай, а похлебать одной поземины, да и то не досыта. А ему одно далось: "Робь, не ленись! Урежу вот бадогом-то! Не погляжу на отца с матерью!"

Положение подростков и особенно, молодых женщин, которых "таскали в лес с пеленишными ребятами", было, действительно, крайне тяжелое, и только суровая власть старшего в семье могла удержать от распада эти семейные коллективы углежогов.

О положении наемных рабочих - хоть редко, а все-таки это бывало - едва ли надо говорить. Таким горемыкам приходилось жить впроголодь, в самых первобытных условиях и "ворочать во-всю", а плату тут ужать умели.

Жили углежоги своей особой, замкнутой жизнью, "знались и роднились" преимущественно с такими же углежогами. Да надо сказать, что и девушки "со стороны" редко по доброй воле выходили замуж в семьи таких углежогов, - на каторжную куренную работу.

С одним из подобных семейств "мы приходились в родстве", и мне изредка случалось видеть вблизи их домашнюю жизнь. Дом был довольно просторный, с "горницей, через сени". Горницей, однако, не пользовались. Там даже печь не топили, чтоб "ненароком не заглохло имущество в сундуках". С едой туда тоже нельзя было входить, - еще мышей приманишь! Пол был устлан половиками трех сортов (по числу невесток в семье), но сверх половиков были набросаны рогожи. В горнице стояли три кровати "в полном уборе", но никто на них не спал, шкафы с посудой, которой никто не пользовался. и сундуки тремя "горками". Все это было своего рода выставкой, показом, что "живем не хуже добрых людей", единственной утехой женщин, которым пришлось жить в этом унылом доме.

Безвыездно жили в доме лишь старуха - мать хозяина - да его жена. Они "управлялись по хозяйству", водились с малышами, которых еще нельзя было брать в курень, и пекли хлеб для работавших в курене. Раз или два в неделю, в зависимости от погодных условий, за хлебом приезжали. Тогда же ввозили какой-нибудь приварок: сушеную рыбу, крупу.

Когда вся семья собиралась домой, ютились в "жилой" избе, которая тогда становилась не лучше куренной землянки.

Непривычным казалось наблюдать в этом доме необыкновенную строгость. Не только малыши и женщины были запуганы, но и взрослые женатые сыновья со страхом поглядывали на отца, спрашиваясь у него даже в бытовых мелочах.

Старик был именно тот хозяин, "который заморил всех на работе", чтоб в результате иметь необитаемую "горницу с имуществом" да полный двор скота.

Странно было, что этот суровый старик имел все-таки слабость. Ежегодно из своего конского поголовья он продавал одну или две лошади и покупал "необъезженных степнячков". Может быть, и здесь был скопидомский расчет купить "по круговой цене" редкую лошадь, но старик сам объезжал новокупок и обращался с ними куда ласковее, чем со своими семейными. Этой слабостью порой "спасались". Чтобы отвлечь внимание старика либо просто выжить его из избы, которая-нибудь из снох скажет:

- Тятенька, а Игренька-то ровно оберегает заднюю левую?

- Замолола! Кто тебя спросил? - цыкнет старик, но сейчас же спросит: - Кою, говоришь, оберегает? - и, получив ответ, сейчас же уходит к лошадям. Оттуда уж он не скоро вернется.

Кому нужно было поговорить со стариком, тот тоже начинал с лошадей. Старик оживлялся, находил много слов, и было удивительно, что этот грузный и довольно неуклюжий человек

говорил не о возовой лошади, а о рысаке и "виноходце". Однако стоило заговорить о деле, как старик переходил на скупые ответы: "не знаем", "подумать надо", "не наше дело", "нас не касаемо".

Строго ограниченный рамками своего хозяйства и работы уклад был обязателен и для всех членов семьи.

- На что ему много грамоты? Научился расписаться, и хватит. По нашему делу больше не требуется, - отвечал старик на просьбы оставить парнишку "доучиться в школе".

- Цыть вы! - кричит он, если женщины заговорят о "чужих делах".

- Ружье завести? А хлыстика не хочешь? Вытяну вот, так будешь помнить: охота - не работа, под старость куска не даст.

Даже обычных в каждом доме удочек у мальчуганов здесь не полагалось под тем предлогом, что "рыбка линьки - потеряй деньки, а кто хомуты починять станет?"

К лесной жизни и лесной фантастике отношение было строгое, деловое.

- Всякий зверь уходит, где лес валить станут, и лешак жигаля боится.

Старик даже по этому поводу рассказывал в поученье младшим:

- Было эк-ту со мной в малолетстве... Наслушался побасенок про девку Азовку... А робили в тот год близко Азова... Ну, я тут эту девку и поглядел... Сейчас забыть не могу... Выполз по ночному времени из балагана, а сам все в то место поглядываю, где Азов-гора... Боюсь, значит... Тут мне и покажись, будто из горы страхилатка лезет... Космы распустила, хайло разинула да как заревет диким голосом... Я беги-ко в балаган да давай-ко будить тятю. Он, покойна головушка, схватил вожжи и почал меня охобачивать, и почал охобачивать, а сам приговаривает: "Я те научу в лесу жить. Я те научу Азовку глядеть!" С той поры, небось, не случалось этого со мной. Выучил - спасибо ему - родитель.

На вопрос, кто ревел диким голосом, старик отвечал:

- Страх-от во мне и ревел. Как родитель вышиб его вожжами, так и реветь перестал. - И учительно добавлял: - Вот оно, значит, польза какая, во-время ума вложить!

Такую же примерно жизнь вели и другие семьи "наследственных углежогов". Только путем самоограничения и самой беспощадной эксплуатации труда женщин и подростков они добивались известного достатка. Но таких семей, разумеется, было немного, и они казались какими то посторонними среди остального заводского населения.

Положение тех, кто "колотился с одной лошаденкой", едва ли надо много пояснять. Это была почти нищета, так как плата за провоз была снижена до предела Дело доходило до того, что из Северского завода, который находился на той же дороге, но шестью верстами ближе к б. Екатеринбургу, везли дороже, чем из Полевского. По этому поводу горько шутили:

- У нас ведь не как у людей: дольше проедешь, меньше получишь.

Были в Полевском две-три мастерских, которые использовали навыки медников, камнерезов и столяров. Делали там мраморные умывальники, столики с каменной крышкой, шашки и шашечные доски из мрамора, подсвечники, письменные приборы и прочее в этом роде.

Этим мастерским приходилось выдерживать жестокую конкуренцию с мраморскими кустарями, которые наряду с могильной плитой и памятниками выбрасывали на рынок то же, что делалось и в Полевском. Причем камень у мраморчан был мягче, легче для обработки, и вещи выходили дешевле. В таких условиях полевским мастерским приходилось рассчитывать только "на сорт", на высокое качество работы. Понятно поэтому, что в Полевском "кормиться около мастерских" могли лишь квалифицированные специалисты, порой настоящие художники, которые "увидели нутро камня" и умели так оправить его в металл и дерево, что он "умному говорил и дураку покою не давал". Из малахита тогда делали только мелочь (броши, запонки), но рассказы о прежних

мастерах-малахитчиках были живы в группе камнерезов.

Разумеется, эти мастерские были в руках мелких хозяйчиков, и только взаимная их конкуренция заставляла дорожить квалифицированными рабочими, зато положение подсобных было самое безотрадное.

"Маленькое ремесло имеет" - чаще всего значило: сапожник, реже - портной, столяр, жестянщик, но бывали ремесленники и самые неожиданные. Производство одного из таких мне пришлось увидеть с первых же дней жизни в Полевском заводе.

Поселились мы сначала у столяра в "задней избе", которая до осени была свободна, так как в летнюю пору хозяин работал под навесом, во дворе. Столярная работа, особенно когда работают хорошо отточенным инструментом опытные руки, всегда привлекает ребят. Немудрено, что я сейчас же стал вертеться около верстака, высказывая полную готовность "пособить дяденьке". "Дяденька" оказался не особенно приветливым и не понимал своей пользы, то есть не давал тупить инструмент, но от мелких услуг: подержать, сбегать за клеем и так далее - не отказывался. И вот раз он говорил:

- Слазай-ко на пятра. Там в самом углу три доски липовых. Увидишь - вовсе белые они. Которая пошире, ту и спусти.

Это уж было поручение, за которым можно было ждать предложения: ну-ко, выгладь доску рубаночком! Я бросился на лестницу и чуть не свалился от испуга, когда взлез на пятра. Там в несколько рядов на досках стояли "блюдья" с человеческими головами. "Блюдья" походили на обыкновенные пельменные, но головы были совсем белые, как мел. И хотя для "страху" около голов были красные пятна и потеки, легко было догадаться, что это "не настоящие головы". Итти вдоль ряда все-таки было жутко и неприятно. Хуже всего оказалось, что на конце самой широкой липовой доски тоже стояло такое блюдо. Волей-неволей приходилось его сдвигать, и сразу почувствовалось, что оно очень легонькое. Эта легковесность почему-то еще более успокоила, и я, хоть посматривал сбоку на отрубленные головы, все же спокойно сбросил доску под навес. Когда спустился, столяр лукаво улыбнулся:

- Натерпелся страху-то?

- Не настоящие, поди-ко...

- То-то не настоящие! Иные большие пужаются, как нечаянно-то увидят. А кто опять плюется да матерится. На уж, построжись маленько. Сними вон кромку с доски, да за черту не заезжай смотри!

Это была награда за мужество, но мне все-таки теперь интереснее было узнать, что это за головы и почему их так много. Из разговора выяснилось, что это работа младшего брата хозяина. Парень тоже был столяром, потом ушел в город и попал работать в иконостасную мастерскую. Там он научился формовке из гипса. С этими новыми навыками приехал домой и решил "хорошо заработать". Он придумал формовать голову "Ивана-крестителя на блюде". Как видно, считал это новинкой и работал "потихоньку от других". Наформовал этих голов несколько десятков и понес продавать, но вышла полная неудача. Сначала, конечно, пошел "по начальству и богатым домам", но нигде не покупали. Одни отказывались - страшно, другие считали грехом "держать фигуру вровень с иконами", третьи просто говорили - не надо. Словом, вышел полный провал. Служащие тоже покупать не стали, а рабочие подняли на-смех "нового торгована рубленой головой". Так этот "торгован" и уехал из завода "от стыда". Потом, как я услышал, он все-таки разбогател, но не от рубленых голов, а от "дворянских бань с женской прислугой", пока волна революции не смыла эту нечисть вместе с его банями.

Рубленые же головы так, видно, и остались в Полевском, и угрюмый столяр устраивал себе развлечение, посылая кого-нибудь из незнающих на пятра за доской.

Были, конечно, как и по другим уральским заводам, "ремесленники" по изготовлению и сбыту "драгоценных камней" из бутылочного стекла или "червонного золота" из медной стружки. Многие знали этих "специалистов", но сами они о своем "ремесле" рассказывали, как о "слышанном от людей".

Было и несколько охотников-промысловиков. "Промышляли", главным образом, "зверя" (лося) и диких козлов. Последних было довольно много в юго-западной части заводской дачи. Их забивали в зиму до сотни голов, и в заводском быту нередко можно было видеть дохи из красивых, пышных, но крайне непрочных козлиных шкурок.

Из перечисленных групп занятые перевозками (по-заводски - возчики) составляли самую большую. Еще многочисленнее была группа горнорабочих. Часть из них была занята на "казенных" (владельческих) рудниках и приисках, часть работала мелкими артелями по разработке и промывке золотоносных песков.

Сысертский заводской округ хоть не выделялся своей золотоносностью среди других уральских заводских округов, но все же за год сдавалось отсюда пудов до двадцати золота. Так по крайней мере значилось по заводским отчетам 90-х годов. В действительности, эту цифру надо было сильно увеличить, так как заводское начальство требовало сдачи золота по пониженной - чуть не втрое против государственной - цене, а старатель всячески "ухитрялся сдать на сторону", "ближе к казенной цене". При распыленности старательских артелей, изворотливости скупщиков и "добрососедских отношениях" со штейгерами, которым платилось владельцами "не очень жирно", это и удавалось вполне.

Можно думать, что и "горное начальство" "не крепко к этому вязалось". В сущности оно тут очень немного теряло, так как золото через скупщиков сдавалось тоже в казну. Впоследствии мне даже приходилось видеть в старых уральских газетах статьи, где предлагалось "раскрепостить старателя от посессионеров, которые отбирают у него большую часть заработка в виде платы за право разработки песков".

В золотоносных песках Полевского района нередко находили самородки довольно значительного веса. Причем находили их иногда в верхних - самых доступных для разработки даже мелким старательским коллективам - пластах. Это создавало известный ажиотаж, и на те участки, где оказались "счастливые комышки", сейчас же устремлялись с других. Сюда же откочевывала часть горнорабочих с "казенных" рудников и приисков. Все эти поиски носили более или менее случайный характер. Порой совсем зря переворачивали пески, порой заваливали горами "пустяка" "дорогую породу", иногда находили. Чаще всего это была именно находка, случайность, но многолетний практический опыт старателей тоже, конечно, содействовал "счастливым находкам". Хорошие золотые жилки "попадали" больше опытным в таких разработках людям. Объяснение тут было естественное, деловое:

- Этот места знает. Сквозь все пески прошел. С первой лопаты видит, положено ли тут.

- Щегарь по плану, а этот по пенечкам да по камешкам. Подойдет к какому надо, загонит каелку - это место! Вот те и весь план! И будьте спокойны - найдет, не ошибется.

- Ему бы только до старой земли достукаться, а там уж он сразу разберет, как по книге.

К такому простому и в сущности правильному объяснению нередко примешивались и соображения другого порядка.

- Словинку знает.

- Пособничков, видно, имеет, да нам не сказывает.

- В тот раз в кабаке похвалялся - полозов след видал. Потому и находит!

- Дедушко у них на эти штуки дошлый был. Он, поди, и открыл всю тайность.

Когда случалось "натакаться на богатимое место" совсем неопытному старателю, подобные

разговоры о тайном слове, тайной примете, тайных пособниках усиливались.

- Не иначе, сини огонечки подглядел.

- Сидит будто и видит - у камня медянки играют. Цельный клубок их. Перевились все, а головами-то друг дружку подтыкают. Он и заметил этот камешок. Копнул тут, да и выкопнул штучку в три фунтика! Понимай, значит, какие это медянки играли!

- На ходок, говорят, напал. От старых людей остался. Он и давай тут колупаться, да и выгреб свою долю.

- На ходок-от попасть, так уж тут дело верное. Стары люди знали. Зря ходок не сделают.

Разговоры о таинственном Полозе, о синих огоньках и змеиных клубках, как показателях золотоносных мест, мне случалось слыхать и в Сысертской части округа, но разговор о каких-то старых людях был новостью. Это было особенностью Полевской стороны и связано было с историей Гумешевского рудника, как и другие фантастические образы.

IV

Представляешь себе теперь картину прошлой жизни.

Завод умирал. Давно погасли домны. Одна за другой погасли медеплавильни. С большими перебоями на привозном полуфабрикате работали переделочные цеха. Не было ни клочка пахотной земли, и все-таки население заводского поселка цепко держалось за родные места. Сопоставляешь, как быстро пустела Сысерть во время промышленного кризиса 1900-1903 годов. Припоминаешь целые улицы заколоченных домов в Северском заводе в начале восстановительного периода 1921 - 1925 годов. Здесь же, при крайне угнетенном положении производства в 90-х годах, когда на фабрике было занято лишь триста пятьдесят человек, квартиру найти было нелегко. В чем тут дело?

Думаешь об этом и приходишь к выводу, что главной причиной особой привязанности населения к своему месту был старый Гумешевский рудник, воспитанные работой на нем производственные навыки и твердая уверенность в исключительном богатстве недр вблизи Гумешек.

История этого древнейшего рудника, который в 1702 году был открыт арамильскими крестьянами-рудознатцами уже как старый, заброшенный, еще не написана. По тем сведениям, которыми, мы располагаем, можно утверждать лишь, что это было первое и самое мощное залегание углекислой меди по западному склону Среднего Урала. Одно из тех мест, о котором профессор А. Е. Ферсман в своей книге-поэме "Цвета минералов" говорит:

"Как мишурная роскошь, вспоминается нам малахит наших медных рудников, с грандиозностью запасов которых не могло сравниться ни одно месторождение мира: то бирюзово-зеленый камень нежных тонов, то темно-зеленый с атласным отливом (Средний Урал)..."

В приводимых в V томе "Летописи" В. Н. Шишко "Сведениях о минеральных богатствах Пермской губернии" видно, что в Гумешевском руднике добывалось и встречалось:

Малахит. Лучистый, мелкокристаллический, почковатый и сплошными массами.

Медная лазурь. Мелкими кристаллами, наросшими на буром железняке.

Медная зелень. Сплошными массами.

Медный колчедан. В сплошных массах.

Красная медная руда. В сплошном виде и кристаллами, являющими иногда сложные комбинации правильной системы.

Медь самородная. Мелкими кристаллами в форме октаэдра, наросшими на землистом буром железняке либо на плотной красной руде.

Брошантит. В виде шестовато-кристаллических агрегатов и мелкими кристаллами изумрудно-зеленого цвета, наросшими на плотной красной медной руде.

Фольбортит. Чешуйками зеленовато-желтого цвета, наросшими на буром железняке.

Халькотрихит. Волосистыми кристаллами карминно-красного цвета, наросшими на буром железняке.
Элит. В виде гроздеобразных почек на буром железняке.
Такое минералогическое разнообразие неизбежно должно было вызвать к жизни камнерезное дело как боковою отрасль. Главное же было в мощности залегания.
Гумешевский и лежавший рядом с ним Полевской рудник и были той жемчужиной, ради овладения которой началось движение на юго-запад от г. Екатеринбурга.
Крепость Горный Щит строилась, чтоб защищать дорогу туда с севера, крепость Полдневая (Полдневское село) была основана для защиты с юга, а Подевской завод закладывался для использования рудных богатств "двух гуменцев", открытых близ речки Полевой.
Строитель завода Геннин высоко ценил полевские руды. В одном из писем Петру I он, рассказывая о расходах на строительство новых заводов, обещал: "А ныне тебе бог заплатит вдруг от полевской и гумешевской, такожде от кунгурских и яйвинских медных руд весь убыток скоро" ("Горный журнал", 1726 г., кн. 5).
Однако этому обещанию не суждено было исполниться. Вороватые царские чиновники и немецкие специалисты вели дело все время с убытком. Полевской завод выплавлял за год от 250 до 1000 пудов меди и лишь в последний год "казенного содержания" дал 4577 пудов (у Чупина в "Географическом и статистическом словаре") .
Можно думать, что немцы, стоявшие тогда во главе завода, и сами не знали ценности Гумешевского месторождения. Косвенным подтверждением этого может служить картина расхищения казенных горных заводов. Начавший это "для интересу ее величества полезное" дело разбазаривания государственных заводов немец Шемберг ухватил себе самый лакомый кусок - Гороблагодатские заводы и Лапландские медные рудники. Потом этот кусок у немецкого проходимца перехватил "доморощенный орел" граф Шувалов. За ним протянула руки и остальная "плеяда Елизаветина двора": другой Шувалов, оба Воронцовы, граф Чернышев и лейб-кампанеец Гурьев, фельдмаршал князь Репин...
Каждый из этой "стаи славных" старался урвать кусок побольше и пожирнее. Особенно отличился граф М. Воронцов, захвативший Ягошихинский, Пыскорский, Мотовилихинский и Висимский заводы; Роману Воронцову отдан был Верхисетский завод; графу Чернышеву достались Юговские; Гурьеву - Сылвенский и Уткинский и т. д.
Среди больших дворцовых птиц, растаскивавших казенные заводы, оказался лишь один ястребок попроще - соликамский "солепромышленник и фабрикант в ранге сухопутного капитана" - Турчанинов. Этот угодил царице изготовлявшейся в его мастерской медной посудой и получил Гумешевский рудник с Полевским и Сысертским заводами.
Турчанинов не в пример вельможным заводовладельцам оказался "рачительным хозяином". В то время как те, не заплачив казне ни копейки условленной стоимости заводов, приписали себе сотни новых крепостных, наделали дополнительных долгов и начали продавать заводы в другие руки, этот стал быстро богатеть. Главным источником его богатства оказалось сначала медеплавильное производство на гумешевских рудах.
Турчанинов по опыту своей прошлой работы, как видно, хорошо оценил высокие качества старых русских мастеров по меднолитейному делу. Получив в свое распоряжение Полевской завод, Турчанинов, как рассказывали в Полевском, в первую очередь привез сюда этих мастеров, а также "своих рудознатцев и рудобоев".
В исторической литературе мне до сих пор не удалось найти подтверждения этим рассказам, но обилие в б. Сысертском округе фамилий, прозвищ и слов несомненно северного происхождения, исключительная "однопородность" и "одноверность" населения говорят, что заселение здесь

производилось не так, как в других заводских округах. В произведениях Мамина-Сибиряка, посвященных, главным образом, Демидовской и Расторгуевской части заводского Урала, а также в романе А. П. Бондина "Лога", написанном на основе материалов по б. Тагильскому заводскому округу, нередки мотивы столкновений по национально-бытовым и вероисповедным особенностям (между "хохлами" и "расейскими", между "кержаками" и "никонианцами"). В Сысертском заводском округе, по моим наблюдениям, даже почвы для этого не было. Не помню ни одной заводской семьи, которая бы заметно отличалась от других своими речевыми особенностями, манерой постройки, бытовыми мелочами, не считая, конечно, разной степени экономического и культурного уровня. Концовские столкновения определялись исключительно территориальными признаками: мальчуганы дрались одна улица против двух соседних, у подростков и "холостяжника" был более широкий масштаб (Зарека против Скату). Отражались иногда и разногласия производственного порядка, хотя бы в обидных кличках: жженопятики (фабричные), кроты и пескомои (горнорабочие и старатели), лесовики (углежоги) и "несчастный подряд" (возчики).

По вере все числились православными. В основном большинстве выполняли житейские обряды "венчались", "крестили ребят", "отпевали умерших", держали иконы, но большого усердия к церковным делам не проявляли. Для мужчин считалось достаточным сходить в церковь на пасхе или на рождестве да в свои именины. Излишне усердствующих презрительно звали боголизами (все божьи следочки оближет!) и боголазами (забота есть- на бога лезть). Говели чаще старухи, реже старики, а из молодых лишь те, кто собирался жениться или выходить замуж. (Чтоб заминки не вышло от попов! По полному, значит, закону, как полагается.)

Мне как-то приходилось читать, - кажется, у К.Д.Носилова, - что руссификаторы севера считали подобное "обрядоверие" особенностью "обращенных" коми. Один такой фанатик руссификации жаловался:

- Не разберешься, верят они или не верят. Икон не прячут, священников принимают, сами иногда в церковь ходят, обряды крещения, венчанья, погребенья выполняют без напоминания, но все это при полном религиозном равнодушии. Так, для порядка.

Цитата дана произвольно, как уложилась в памяти, да и мнение не представляет такой ценности, чтобы приводить его со всей точностью, но оно все же запомнилось. Читая это место, невольно подумал: "Точь-в-точь как в наших заводах". Может быть, это запомнилось как обратный пример, подтверждавший уже сложившуюся мысль. Наблюдения языкового порядка - в частности над двойными сысертскими и полевскими фамилиями, где уличное прозвище казалось русским переводом неизвестного слова, - говорили, что заводской округ, если не сплошь, то в подавляющем большинстве был заселен выходцами из северных областей. В том числе, конечно, было немало и "обращенных", то есть насильственно окрещенных и руссифицированных коми и коми-пермяков. Иногда отметка о национальности и северном происхождении оставалась в фамилиях: Зыряновы, Пермяковы, Олонцевы, Вологодцевы, Устюжанины. Чаще об этом можно было лишь догадываться по значению слова: Чипуштановы, Черепановы, Подкины, Наносовы, Летемины, Тулункины, Мухлынины, Талаповы и пр. Разумеется, много было фамилий и обычного типа - от производства: Валовы, Засыпкины, Кузнецовы, Ширыкаловы; от лесной жизни: Медведевы, Зайцевы, Хмелинины; от имен и различных прозвищ: Антроповы, Григорьевы, Савелковы, Потопаевы, Полежаевы, Потоскуевы и т. д.

Опираясь на привезенных с собою мастеров, рудознатцев и рудобоев, Турчанинов в первый же год владения увеличил выплавку меди более чем вдвое "против казенного содержания". В последующие годы выплавка все время росла и к концу первого десятилетия перевалила за двадцать семь тысяч пудов. И дальше в течение столетия эта цифра выплавки шла средней,

повышаясь иногда за тридцать тысяч, а в один год (1866) даже до сорока восьми тысяч.
При бесплатном крепостном труде полевские медеплавильни и гумешевское месторождение стали золотым дном для владельцев и самой жуткой подземной каторгой для рабочих.
Не зная процентности руды, невозможно представить объем горных работ, но, несомненно, при технике того времени он требовал очень большого количества рабочих.
Отсюда можно сделать вывод, что население Полевского завода в подавляющей своей части в прошлом было связано с горными работами на Гумешевском руднике. В 90-х годах можно было встретить еще немало стариков, которые "до воли" и "после воли" работали забойщиками на этом руднике.
Те же, что работали по разборке руды (дети) или "бегали с собакой" (подростки-катали), были еще совсем не старыми.
При широком применении труда детей, подростков и женщин работа на Гумешках прививала рудничные навыки большому числу населения Полевского завода. Не удивительно поэтому, что когда в 1871 году рудник затопило, заводское население, не покидая насиженного места, занялось рудничными и старательскими работами. Понятен и другой вывод.
О Гумешевском руднике, где в течение сотни лет гибли одно за другим несколько поколений рабочих, держались предания и рассказы чуть не в каждой рабочей семье.
Огромное богатство и минералогическое разнообразие, а также то обстоятельство, что рудник и при его открытии был старым, оставленным, вносили в рассказы о Гумешках элемент непонятного, чудесного. Гумешки расценивались как "самое дорогое место", но объяснить это неграмотный горняк прошлого мог только с помощью фантастики.
Чаще всего говорилось о "старых людях". По одним вариантам, эти "старые люди" "натаскали тут всякого богатства, а потом, как наши пришли в здешние края, эти старые люди навовсе в землю зарылись, только одну девку оставили смотреть за всем". По другим вариантам - "старые люди вовсе в золоте не понимали, толку не знали. Хотя золота тогда было много, его даже не подбирали. Потом одна девка ихняя наших к золоту подвела. Беспокойство пошло. Тогда старые люди запрятали золото в Азов-гору, медь в Гумешки вбухали и место утоптали, как гумно сделали. А девку ту в Азов-гору на цепь приковали. Пущай-де до веку казнится да людей пужает. Таковско ей дело!" По третьему варианту, "стары люди вовсе маленькие были". Они ходили под землей по одним им ведомым "ходкам" и "знали все нутро". Потом опять случилась какая-то "девичья ошибка", и "стары люди из здешних мест ушли, а девку с кошкой за хозяйку оставили". "В какое место девка пойдет, туда и кошка бежит. Когда оплошает, уши у ней из земли высунутся да синими огоньками горят".
Таких вариантов было много. Общее в них было только "стары люди" да "девка". Последняя называлась иногда Азовкой, иногда малахитницей.
Была и другая версия сказов, где фигурировали больше "старая дорога" и горы Азов и Думная. Эту версию Сказов надо отнести скорее к кладоискательским: говорилось о кладах, а не о "земельном богатстве".
По этой версии выходило, что вблизи Поповского завода проходила большая дорога. По этой дороге шло много обозов со всякими товарами, а "вольные люди" подстерегали и грабили эти обозы. Захваченное складывали в пещеру Азов-горы. Эта гора, а также Думная служили вольным людям как сигнальные вышки. Когда вольным людям пришлось уйти отсюда, они оставили при своих складах "девку Азовку".
Положение этой "девки" определялось по-разному. Одни называли ее "женой атамана", "его полюбовницей". Другие это оспаривали: коли такая была бы, так давным-давно состарилась бы и умерла, а эта и посейчас такая, какой была. Она вовсе из старых людей им досталась. То и сидит

век- вековенский, а сама не старится.
Отношение "девки" к охране клада тоже изображалось неодинаково. То она была добровольной хранительницей, которая "никого близко не допустит". То она была прикована цепями в Азов-горе и отпугивала людей своими стонами и криками.
Между прочим, эта "стара дорога", неизменно и упорно упоминавшаяся в сказках о кладах Азов-горы, была одним из толчков, побудивших меня рыться в исторических материалах о "путях сообщения". В изданной в 1838 году книге П. А. Словцова "Историческое обозрение Сибири" я нашел подтверждение, относящееся к периоду с 1595 по 1662 год, то есть ко времени, когда на Урале не было еще ни одного железоделательного завода, но уже строились крепости и остроги. "Была еще летняя тропа для верховой езды, пролегавшая из Туринска, после из Тюмени через Катайский острог на Уфу по западной стороне Урала, с пересечкой его подле Азовской горы". Дальше рассказывалось и о характере движения. "И по этой тропе происходили пересылки воевод, в нужных случаях, особенно в последней декаде периода, исключая одного раза, когда в 1594 г. ведено было отряду служилых, из 554 человек состоявшему, пробраться в Сибирь от Уфы степью". Выходил опять разрыв между представлением и действительностью. Оказалось, что те "трудные дорожки", которыми полевчане пробирались на Нязинскую степь и могли добраться до Нязепетровского завода, пролегали по местам исторической тропы - старой дороги сказов. Казалось трудным представить, что по таким местам проходили "обозы с товарами". Может быть, впрочем, тут действовала разница во времени: то, что считали дорогой в XVI и XVII веках, казалось неосвоенным местом в конце XIX века. Гораздо проще было представить, что по этой второстепенной и поэтому менее строго охраняемой колонизационной дороге пробирались в Сибирь "беглые", которые, "сбившись в ватаги", превращались в "вольных людей". Возможно, что эти вольные люди и нападали на "воеводские пересылы", которые могли интересовать ценностями, конями, оружием и вообще как живая враждебная сила.
Азов в этой части Урала самая заметная гора. На вершине голый камень, к которому со всех сторон близко подступает лес. Это создает очень выгодное положение для наблюдателей: оставаясь незаметными из-за леса, они на десятки верст могли видеть окрестности. Такой же голой скалистой вершиной оканчивалась и Думная гора. Легко было поверить, что обе эти горы, расстояние между которыми по прямой около десяти километров, могли служить сигнализационными вышками.
В связи с этим можно было даже подумать, что открытые в начале XVIII века "два гуменда промеж речками Полевыми", где, кроме рудокопных ям, оказалось "изгарины многое число, что выметывают кузнецы из кузниц", были просто остатками работы одной из ватаг, долго отсиживавшейся здесь, в удобном месте. Ведь известно же, что крестьяне Арамильской слободы задолго до постройки в этом краю первых заводов плавили железо в "малых печах", продавали его и даже платили за это "десятую деньгу". Почему таких же "плавильщиков" и "ковачей" не предположить среди ватаги "вольных людей"? Потребность в металле у них, конечно, была большая: и для оружия, и в качестве товара, как у крестьян Арамильской слободы.
Пещера в горе Азов подходила для всех вариантов сказов. Одни говорили, что в этой пещере и жили "вольные люди". Другие населяли ее таинственными "старыми людьми". Но и те и другие одинаково утверждали, что попасть в эту пещеру очень трудно. Ход в нее так запрятан, что редкий найдет, а если и найдет - тоже не попадет, так как пещера охраняется таинственными силами и разными страшилищами. Самым страшным хранителем кладов была "девка Азовка". Иногда эта "девка" изображалась такой ослепительной красавицей, что всякий, взглянувший на нее, "навсегда свет в глазах потеряет и вовсе без ума станет". Чтобы получить доступ к оставленным в пещере богатствам, надо было знать "заклятое слово", "потаенный знак", "тайное имя", и тогда доступ в пещеру становился свободным, там встречала гостя девица, угощала его "крепким, стоялым

пивом" и предоставляла брать из богатства, "что ему полюбится".
Пароль, открывающий доступ к "захороненным богатствам", а также оставленная при богатствах женщина, по моим наблюдениям, обычны для всех сказов о "вольных людях". Подобное, например, приходилось слыхать по чусовским деревням. В одном сказе, помню, паролем служили условленные слова песни на точно определенном месте. Когда это совпадало полностью, то открывался ход в скале и оттуда выходила девица-красавица, которая начинала "звать-величать, гостей привечать, про здоровье спрашивать". Когда слова песни и место совпадали не полностью, скала тоже раскрывалась и девица появлялась, но сейчас же все исчезало. "Начнут тут люди спорить, было али не было. Спорят-спорят, и давай друг дружку в воду бросать да топить. Коли все утонут, девка опять выскочит, да и заревет по - лешачиному, а коли хоть один останется, тогда не покажется, - будто и не было вовсе".
В сказах этого типа вполне понятен, конечно, образ женщины, которая ждет и "привечает" своих, отводит, обманывает, отпугивает и даже губит чужих. Такие женщины на судебном языке старого времени назывались "пристанодержательные женки", "воровские женки", "береговые девки", а в сказах они фигурировали как красавицы, жены атаманов и эсаулов (есаулов.- пр.ск.).
В чусовских сказах о "вольных людях" иногда упоминалась и Азов-гора, как особо охраняемое место. Очевидно, эту гору раньше знали гораздо шире, чем в последующие годы.
В сказах о "самом дорогом месте" тоже упоминалась гора Азов. Основанием здесь надо считать обилие ценных ископаемых по равнине около Аэова. Кроме двух (медных рудников, здесь были залегания прекрасного белого мрамора, который у камнерезов зовется полевским; здесь же, по речкам, были найдены первые в этом районе золотые россыпи.
По местам с открытыми выходами сернистых колчеданов, которые Геннин, видимо, имел в виду под названием "медного ила", в сырую погоду держался густой туман особого оттенка. Этот "синий туман" тоже считался показателем богатства в земле.
Все это, поддерживая сказы о "самом дорогом месте" - Гумешевском руднике, связывалось и с Азовом. Там, говорили, и хранится главное богатство.
В пещере Азов-горы, таким образом, сходились два направления сказов: кладоискательское, где говорилось о кладах, "захороненных в горе вольными людьми", жившими тут, вблизи "старой дороги", и горняцкое - с попыткой объяснить происхождение, вернее, скопление здесь "земельных богатств". Тут фигурировали "стара земля", "стары люди" и "тайна сила".
Понятно, что при таких условиях сказы одного направления сближались, переплетались со сказами другого направления, и одни образы переходили в другие. "Стары люди" получили черты "вольных людей", и наоборот. Красавица - жена атамана или "береговая девка" судебных приказов - превращается в "каменную девку", в "малахитницу", в "Хозяйку горы". Хозяйка из безразличной хранительницы "земельных богатств" превращается в сознательную: одним помогает, сама показывает, облегчает доступ к богатствам, других "отводит", обманывает или губит.
Враждебна "Хозяйка" к барам, начальству, всякого рода барским прислужникам, а помогает лишь смелым, решительным и свободолюбивым рабочим, которые в какой-то степени родственны "вольным людям". Однако Хозяйка горы не сводится на роль только пособницы, соучастницы, хранительницы собранного (кладов). Нет, она распоряжается не кладами, а "земельными богатствами", и распоряжается самостоятельно. По своему желанию может допустить разработку, может и не допустить, может с помощью подвластных ей ящериц "увести богатство", может и собрать.
Кроме многочисленных ящериц, в подчинении Хозяйки горы еще бурая кошка. Она ходит в земле, но близко к поверхности, выставляя иногда свои огненные уши. В каком-то подчинении находится и хранительница "главного богатства" "девка Азовка". Иногда, впрочем, этот образ кажется не

связанным с образом Хозяйки горы, но все же налет горняцкого тут остается: в перечне богатств горы упоминаются лишь золото и драгоценные камни, а не товары и оружие.
Там, где "самое дорогое место", "главное богатство", неизбежен, конечно, и образ змеи. Это ведь повсеместно - змея и золото связывались. "Змеиные гнезда", "змеиные места" считались верным признаком золотоносности. Это не отрицалось и в книгах, которые по состоянию культуры XVIII века можно отнести к разряду научных.
Так, в 1760 году было издано "Обстоятельное наставление рудному делу, состоящее из четырех частей... сочиненное и многими чертежами изъясненное... берг-коллегии президентом и монетной канцелярии главным судьею Иваном Шляттером - объемистая книга, - на 294 страницы большого формата, с 35-ю листами чертежей, - посвященная президенту Академии наук П. И. Шувалову, конечно, была одним из капитальных трудов своего времени. И все-таки в этом "капитальном труде" читаем: "Что о пребывании ящериц, змей и тому подобных насекомых при богатых рудных жилах говорится, то хотя оное за неосновательное почитается, однако узнавание особливо при Колывановоскресенских заводах ясно доказывает, что сего вовсе опровергать не надлежит; ибо множество змей, находящихся там на горе, золотою и серебряною рудами изобилующей, от которых и оная гора Змеиною горою названа, есть явное свидетельство, что такие гады больше водятся в тех местах, где золотые и серебряные руды находятся".
Ящерицы и змеи обычного типа у старателей считались только слугами, пособниками. Среди ящериц одна была главной. Она иногда превращалась в красивую девицу. Это и была Хозяйка горы. Над змеями начальствовал огромный змей - Полоз. В его распоряжении и находилось все золото. Полоз, по желанию, мог "отводить" и "приводить" золото. Иногда он действовал с помощью своих слуг-змей, иногда только своей силой. Иногда роль Полоза сводилась только к охране "земельного золота". Полоз всячески старался не допустить человека до разработки золотоносных мест: "пужал", показываясь "в своем полном виде", "беспокойство всякое старателю производил", утягивая в землю инструмент, или, наконец, "отводил" золото. Реже Полозу давались черты сознательного, полновластного распорядителя золотом: он, как и Хозяйка горы, одним облегчал доступ к золоту, указывал места и даже "подводил золото", других отгонял, пугал или даже убивал.
Между подчиненными Полозу силами нередко упоминались его дочери - Змеевки. С их помощью Полоз "спускал золото до рекам" и "проводил через камень". Чаще всего олицетворением Змеевок считались небольшие бронзовые змейки-медяницы. Широко распространенным было поверье, что эти змейки проходят через камень и на их пути остаются блестки золота. Иногда о Змеевках говорилось без связи с Полозом; они считались одним из атрибутов колдовской ночи, когда расцветает "папора". В эту ночь Змеевки в числе прочей "колдовской живности" вились около чудесного цветка. Вспугнутые человеком, "знающим слово", они сейчас же уходили в землю, и если тут был камень, то оставляли в нем золотой след. Если кладоискатель "не знал слова", Змеевки устремлялись на него и тоже "сквозь пролетали". "Умрет человек, и узнать нельзя - отчего. Только пятнышко малое против сердца останется".
Взаимоотношения между Полозом и Хозяйкой горы были не вполне ясны. Помню, мы потом не раз спрашивали у лучшего полевского сказителя дедушки Слышко о Полозе.
- Он хоть кто ей-то? Муж? Отец?
Старик обычно отшучивался:
- К слову не пришлось, не спросил. Другой раз увижу, так непременно узнаю, -то ли в родстве они, то ли так, по суседству.

## V

В "квартире с рублеными головами" жили недолго. Удалось найти лучше - на шлаковых отвалах,

за рекой, у самой Думной горы, рядом с женской школой.

Домик строился как квартира для учительниц, но так как он тогда стоял еще совсем на пустыре, то две девушки-учительницы боялись тут жить, предпочитая ютиться в самом школьном здании, где жила и сторожиха. Нам и пришлось "обживать" этот "флигель при девичьей школе".

Взрослые были довольны переменой квартиры, а мне сначала показалось здесь совсем скучно.

На шлаковых отвалах, ближе к берегу реки тянулись бесконечные поленницы дров. Тут была так называемая "дровяная площадь", где обычно "стоял годовой запас дров" для пудлингового и сварочного цехов. Для охраны дров была поставлена на горе будка с колоколом.

Нельзя сказать, чтобы вид на безлюдную дровяную площадь мог привлекать внимание одиннадцатилетнего мальчугана. Не лучше был и пустырь за домом. Правда, там по перегнившим уже навозным свалкам росли мощные сорняки, в которых неплохо бы поиграть "в разбойники", но играть-то было не с кем. Улица-одинарка, в конце которой стоял наш школьный флигель, была какая-то совсем нежилая. В противоположном конце, около пруда, стояло здание заводской конторы. Через интервал - мужская школа, потом какой-то заводской склад, потом два-три домика обычного типа, новый интервал - и женская школа с флигелем.

Вечерами здесь было совсем безлюдно.

- Пойдем на гору сказки слушать, - пригласил меня как-то один из моих новых "знакомцев" на новом месте. Я сначала отказался, но приятель настаивал:

- Пойдем, говорю. Сегодня в карауле дедко Слышко стоит. Он лучше всех рассказывает. Про девку Азовку, про Полоза, про всякие земельные богатства. Не слыхал, поди?

Это было даже обидно.

- Не слыхал! Да об этом, поди, все говорят! Как соберутся вечером на завалинке, так обязательно про земельные богатства разговор. Где их искать, как добыть, какой Полоз бывает, в котором месте стары люди жили. Ну, все как есть. В Сысерти у нас такие разговоры в редкость, а тут их каждый вечер слушай! Надоело даже, а ты говоришь - не слыхал!

Товарищ, однако, продолжал приглашать:

- Пойдем! Слышко занятнее всех сказывает. Ровно сам все видел. Что на Медной горе было, так он и места покажет.

Хотя Медная гора, как я уже говорил, больше всего обманула мои ожидания, но интерес к ней был жив. Пошел с товарищем на гору и с той поры стал самымэ ревностным слушателем дедушки Слышка. Даже потом, когда круг моих товарищей расширился, отказывался по вечерам от игры, чтобы не пропустить дежурство у караулки этого заводского сказителя.

Звали его Хмелинин Василий Алексеевич, но это так только - по заводским и волостным спискам. Ребята обычно звали его дедушка Слышко. У взрослых было еще два прозвища, на которые старик откликался: Стаканчик и Протча.

Почему звали Стаканчиком, об том, конечно, легко догадаться, а два других прозвища шли от любимых присловий: слышь-ко и протча (прочее). Никого не удивляло, когда к старику обращались:

- Стаканчик! Ты на Фарневке пески знаешь?

- А то нет?

- Пойдем тогда, - тезку поднесу. Поглянется, так и другой поставлю. Поговорить с тобой охота.

- Это можно... Отчего не поговорить... К нам с добром, и мы не с худом. Что знаю - не потаю.

Даже официальное лицо - "собака расходчик", как его звали рабочие, при месячной выплате кричал:

- Эй, Протча, огребай бабки! Ставь крест - получай пятерку! Не убежала у тебя гора-то?

- Гора, Иван Андреич, не собака, зря метаться не станет.

Среди ожидающих получки смех. Расходчик делает вид, что не понял ответной насмешки, и продолжает подшучивать:

- Сказки там сказываешь. Только у тебя и дела!

- Кому ведь это дано, Иван Андреич. Иному вон сказать охота, а только тявкать умеет.

Опять смех. Расходчик откровенно сердится:

- Ты у меня, гляди!

- На то и в карауле держат. На людей не кидаемся, а глядеть - глядим. Недаром пятерку-то платишь.

- Отходи, говорю... Не задерживай!

- Это вот верное слово сказал.

Когда старик отходит, в толпе одобрительные замечания:

- Отбрил собаку-то!

- Бывалый старичонко. Со всяким обойдется как надо. Переговори его!

Таким бывальцем, "знатоком всех наших песков", ловким балагуром и "подковырой" слыл Хмелинин среди взрослых. Ребятам он был известен как самый занятный сказочник.

Детей старик любил и с ними был всегда ласков.

Старик, по-моему, был почти одинок. Знаю, что у него была "старуха", годов на десять моложе, но она больше "по людям ходила: бабничала, домовничала"... Были ли у них взрослые дети, - не знаю.

Старик еще бодро держался, бойко шаркал ногами в подшитых валенках, не без задора вскидывал клинышком седой бороды, но все же чувствовалось, что доживал последние годы. Время высушило его, ссутулило, снизило и без того невысокий рост, но все еще не могло потушить веселых искорок в глазах.

Не по росту широкие плечи и длинные руки напоминали, что сила в этом теле была раньше немалая.

У караулки на Думной горе хорошо. Даже надоевшая дровяная площадь с длинными рядами поленниц и широкими полубочьями воды на перекрестках кажется отсюда по-новому. Видно все - до свалившегося полена и сизых пятен на стоялой воде в полубочьях, но все это уменьшилось, стало игрушечным. Особенно забавны бани по огородам за рекой. Они похожи на карточные домики.

Радует глаз круглая, будто переполненная чаша Полевского пруда и уходящая вдаль широкая река - Северский пруд. Красивым кажется кладбище. С горы оно - купа стройных елей в белоснежном кольце каменной ограды. Это единственный яркий кусок среди унылых дальних улиц с заплатанными крышами, покосившимися столбами и разношерстными заборами. Да и весь заводский поселок не лучше. Дома побольше, дома поменьше, а все-таки глазу остановиться не на чем на этой низине под заводской плотиной.

Веселей глядят лишь фабричные здания, когда там есть работа. Только приземистый почерневший четырехугольник медеплавильни всегда кажется унылым и страшным.

В той стороне, где теперь высятся многочисленные корпуса криолитового завода и соцгородка, было видно лишь серое чуть всхолмленное поле старого Гумешевского рудника. Ближе к берегу Северского пруда прижалось несколько убогих лачужек, а дальше по всему серому полю одни обломки старинных загородок да три тяговых барабана, которые издали похожи на пауков в своих гнездах.

Зато там, за Гумешевским рудником и заводским поселком, насколько глаз мог охватить, однообразная, но красивая лесная картина - темносиние волны густого хвойного бора. Седловатая волна выше других - Азов-гора. До нее считалось верст семь - восемь, а "может, и больше".

Острый ребячий глаз различает на вершине Азова постройку. Это охотничий домик владельца заводов со сторожевой вышкой "для огневщиков".

На плотине "отдали восемь часов". То же повторилось на церковной колокольне. Третья очередь Думной горы. Дедушка Слышко уже взобрался на невысокий помост и ждет, когда замрет последний звук с колокольни. Отбил и похвалился:

- Знай наших! Тонко да звонко, и спать неохота! Сразу, поди, на две копейки перед конторой отсчитался.

Не спеша сходит с помоста, усаживается на крылечке караулки и начинает набивать свою "аппетитную".

На дровяной площади уже нет рабочих, пешее и конное движение стало редким, а еще светло, и нет надобности караульщику ходить между поленницами. Самое спокойное время. Часы сказок. Человек пять ребятишек уже давно ждут, но если кто-нибудь попросит сказку, старик всегда поправит:

- Сказку, говоришь? Сказки это, друг, про попа да про попадью. Такие тебе слушать рано. А то вот еще про курочку-рябушку да золото яичко, про лису с петухом и протча. Много таких сказок маленьким сказывают. Только я это не умею. Кои знал, и те позабыл. Про старинное житье да про земельные дела - это вот помню. Много таких от своих стариков перенял, да и потом слыхать немало доводилось.

Тоже ведь на людях, поди-ка, жил. И в канаве меня топтали, и на золотой горке сиживал. Всякого бывало. Восьмой десяток отсчитываю - понимай, значит! Это тебе не восемь часов в колокол отбрякать! Нагляделся, наслушался?

Только это не сказки, а сказы да побывальщины прозываются. Иное, слышь-ко, и говорить не всякому можно. С опаской надо. А ты говоришь - сказку!

- Думаешь, про тайну силу - правда? - возражал кто-нибудь из слушателей.

- А то как же...

- У нас в школе говорили...

- Мало что в школе. Ты учись, а стариков не суди. Им, может, веселее было все за правду считать. Ты и слушай, как сказывают. Вырастешь, тогда и разбирай - кое быль, кое небылица. Так-то, милачок! Понял ли?

Старик, как видно, и сам "хотел считать все за правду". Рассказывал он так, будто действительно сам все видел и слышал. Когда упоминались места, видные от караулки, Хмелинин показывал рукой:

- Вон у того места и упал...

- Около дальнего-то барабана главный спуск был. Туда и собрались, а Степан и говорит...

- Теперь нету, а раньше поправее тех вон сосен горочка была - Змеиная прозывалась. Данило и повадился туда...

Коли приходилось слышать сказ второй или третий раз, легко было заметить, что старик говорил не одними и теми же закостеневшими словами. Порой менялся и самый порядок рассказа. По-разному освещались и подробности. Иной слушатель не выдержит - заметит:

- В тот раз, дедушка, ты об этом не говорил.

- Ну, мало ли... Забыл, видно, а так, слышь-ко, было. Это уж будь в надежде - так!

Хмелинин с десятилетнего возраста до глубокой старости - "пока мога была" - работал исключительно по горному делу.

- Мне это смолоду досталось, - рассказывал старик. - В ваши-то годы я вон там, на Гумешках, руду разбирал. Порядок такой был. Чуть в какой семье парнишко от земли подымется, так его и гонят на Гумешки.

Самое, сказывают, ребячье дело - камешки разбирать. Заместо игры!

Вот и попал я на эти игрушки. По времени и в гору спустили. Руднишный надзиратель рассудил:

- Подрос парнишко. Пора ему с тачкой побегать.

Счастье мое, что к добрым бергалам попадал. Ни одного не похаю. Жалели нашего брата - молоденьких. Сколь можно, конечно, по тем временам. Колотушки там либо волосянки - это вместо пряников считалось, а под плеть не подводили ни разу. И за то им большое спасибо.

Еще подрос - дали кайлу да лом, клинья да молот, долота разные: "Поиграй-ко, позабавься!"

И довольно я позабавился. Медну хозяйку хоть видеть не довелось, а духу ее сладкого нанюхался, наглотался. В Гумешках-то дух такой был - по началу будто сластит, а глонешь - дыханье захватит. Ну как от спички- серянки. Там, вишь, серы-то много было. От этого духу да от игрушек-то у меня нездоровье сделалось. Тут уж покойный отец стал рудничное начальство упрашивать:

- Приставьте вы моего-то парня куда полегче. Вовсе он нездоровый стал. Того и гляди - умрет, а двадцати трех парню нет.

С той поры меня по рудникам да приискам и стали гонять. Тут, дескать, привольно: дождичком вымочит, солнышком высушит, а солнышка не случится - тоже не развалится.

Не изменилось положение Хмелинина и после падения крепостничества. Разница свелась лишь к тому, что теперь он "больше на себя старался", то есть преимущественно работал в мелких старательских артелях и реже на владельческих приисках.

В этой полосе жизни у Хмелинина был "случай", когда удалось найти крупный самородок - в восемнадцать фунтов. Конечно, Хмелинин от этой находки не получил ничего, кроме вреда. Иначе, впрочем, и быть не могло. Вся система прошлого, бытовое окружение и бескультурье неизменно вели к этому. Правда, контора не отобрала самородок, не обвинила старателя, не посадила в острог, как бывало с другими, но все-таки "находка ушла" и увела в могилу жену Хмелинина. Постарался тут скупщик золота и кабатчик Барышов. Он под покровом пьяного угара очень быстро вернул выданные за самородок деньги и выставил пропившегося старателя из кабака.

Бесследно этот "случай" все же не прошел. Старик, рассказывая о нем, добавлял:

- Поучили меня. Хорошо поучили. Знаю теперь, куда наше счастье старательское уходит..

Понятно, что Хмелинин, на себе испытавший всю тяжесть "крепостной горы" и потом продолжавший работать по горному делу, знал жизнь старого горняка во всех деталях вплоть до "нечаянного богатства". Это давало сказителю возможность насыщать сказы живыми и совершенно правдивыми подробностями.

В 90-х годах Хмелинину было за семьдесят, а на Гумешевский рудник он попал в десятилетнем возрасте, Приходится это на 30-е годы прошлого столетия. Тогда, вероятно, можно было встретить стариков из второго и даже из первого поколения "турчаниновских выведенцев", которыми был заселен Полевской завод. В силу этого некоторые подробности о колонизации, о первых годах работы "на новом месте" приобретают у Хмелинина характер исторического документа. Если до настоящего времени не все подтверждено письменными документами, то, вероятно, лишь потому, что поиски были недостаточны.

То же самое, вероятно, надо думать и о встречающихся в сказах указаниях на "особо богатые места". Пусть горняки прошлого были технически безграмотны, пусть они считались порой с разными смешными приметами, все же их многолетний опыт, опиравшийся вдобавок на опыт предыдущих поколений, мог давать немало и ценных знаний. Поэтому не удивляешься, когда читаешь:

"По ориентировочным данным в Гумешевском месторождении запасы меди превышают два

миллиона тонн. Причем разведки проведены на весьма незначительной площади. По сообщению главного инженера Уралцветметразведки, Гумешевское месторождение заслуживает исключительного внимания" ("Уральский рабочий" от 4 ноября 1938 г. э 255).
Красногорка в пору сказителя была покосным участком со следами заброшенного железного рудника. Такой оставалась она в моем представлении, когда в 1936 году воспроизводились сказы, связанные с этим старым рудником ("Медной горы хозяйка", "Сочневы камешки"). И уж только потом, но тоже без большого удивления, узнал, что Красногорка - теперь одна из мощных разработок ценных ископаемых. Как видно, вовсе не зря старатели прошлого "кружились" около этого рудника. Своими жалкими орудиями производства они не могли добиться успешных результатов, но оценка места была правильная.

VI

В какой-то степени специфическим, свойственным по преимуществу Полевскому району, по моим наблюдениям, можно считать лишь опоэтизированный образ "старых людей". В других районах случалось слыхать о "старике", или даже о "старце" (в последнем названии, по-моему, чувствуется отзвук старообрядчества), наделенном некоторыми сходными признаками. Этот "старик", или "старец", так же как "старые люди", "собирает богатство в одно место", "ограждает заклятием", "переносит от людей".
Остальные фантастические образы, как уж говорилось выше, не представляют собой ничего нового. Везде хранитель и хозяин золота - змей, змеиный царь; везде ему служат змеи, некоторые из змей - его дочери. Не знаю, как по Северному Уралу, но по Среднему и Южному этого фантастического змея чаще зовут Полозом, Великим Полозом, вероятно, потому, что здесь издавна идет разговор, частично поддерживаемый натуралистами прошлого (Сабанеев, например), о существовании особо крупного вида змеи - полоза.
Не менее широко был известен и образ "горной", "каменной", "золотой девки", "хозяйки горы". По всему Уралу бродил и "серебряный олень" и его разновидности "зверь (лось) - золотые рога" и "козел - серебряное копытце". Случалось слышать и о "синих огонечках", и об "огненных ушах", и о "синем паучке" - хранителе богатства. Только этот паучок не имел дальнейшего превращения, но его лапы имели свойство далеко вытягиваться по земле, и прикосновение их к голове человека вызывало сон, переходивший в смерть.
Упоминался и "дедко Филин", почему-то всегда в роли противодействующего Полозу, но не встречался больше образ "лисички", как в сказе "Золотой волос". Можно думать, что этот образ пришел извне.
При всей замкнутости Сысертского заводского округа в пору крепостничества все-таки на горных работах были заняты и башкиры. Об этом легко догадаться хотя бы по речевым признакам. Кроме широко распространенных слов, вроде: елань, тулаем и др., здесь были понятны и такие, как сармак (выгода, польза), камча (плеть); встречалось даже русское словообразование от башкирских корней, например, тартмачить (торговать вразнос). Понятно, что и башкирский эпос был в какой-то мере известен русским горнякам, и ходовой в башкирской сказке образ лисички- свахи перешел, видимо, оттуда.
Происхождение образа Полоза - змея-хранителя золота - как-то совсем не интересовало: этот образ казался с детства привычным. Думаю, однако, что образ пришел не от древней символики и не от морализаторских разговоров, а от внешних окружающих впечатлений. Любопытно, что в кладоискательской рецептуре рекомендовалось "подглядывать" "след Полоза", его "кольца" в вечерние часы, после чего они уходят в землю. Купанье же Змеевок и полосканье в реке золотых кос можно было увидеть чаще всего ранним утром. Не случайно, конечно, говорилось, что сквозь

камень проходила не всякая змея, а лишь бронзово-золотистая медянка.
Предположения о происхождении образа Хозяйки горы уже высказывались. Здесь надо лишь повторить, что этот образ далеко перерос свой первоначальный. Хозяйка горы стала олицетворением мощи, богатства и красоты недр, которые раскрываются полностью только перед лучшими представителями трудящихся.
Образ ящерицы как воплощение Хозяйки горы достаточно ясен для всякого, кому случалось видать открытый выход углекислой меди или ее разлом. По цвету, а иногда и по форме здесь сходство очевидное. Можно думать, что подвижность и веселый вид ящерицы получили отражение в образе Хозяйки горы. Недаром Хозяйка всегда изображалась очень подвижной, быстрой в решениях, большой насмешницей и "мудровальницей", которая любила потешиться не только над неугодными ей людьми, но часто ставила в затруднительное положение и тех, кто ей нравился. Впрочем, эта сложность фантастических образов раскрывалась лишь в сказах горняцкого направления.
У кладоискателей все это было гораздо проще. Вся "тайная сила" одинаково представлялась только хранителями богатств. Задача у всех их - Полоза, Змеевок, Азовки, горной Хозяйки - была одна: не допустить человека к богатству. Чтобы это было легче осуществить, вся "тайная сила" изображалась "самой страшной" да еще окружалась всякими чудовищами вплоть до рогатой лошади с чугунными копытами и быка с медвежьими зубами и змеиным хвостом. Но даже в разговорах этого типа больше налегали на хитрость Хозяйки, а не на ее страшный вид. Такими же изображались и ее слуги. Они могли завести в такое место, откуда трудно было выбраться, могли испугать бегущими навстречу огнями, могли, наконец, погубить слабыми по виду руками старухи Синюшки.
Чтоб преодолеть все эти "страсти и хитрости", человеку надо было знать "тайность". К сообщению этой "тайности" (секретного слова, средства, приема) и сводилось основное содержание сказов кладоискательского типа.
Совсем иную нагрузку получила "тайна сила" в сказах чисто горняцкого характера.
С помощью этой "силы" неграмотный горнорабочий и старатель прошлого прежде всего хотели объяснить себе многие непонятные явления, которые приходилось наблюдать при горных работах. Откуда так много богатства в Гумешках? Десятки лет сотни людей надрываются над добыванием и подъемом руды, а ее не убывает. Почему это? И фантастика дает простой и легкий ответ: Гумешки - это склад, оставшийся от "старых людей", которые сюда "захоронили все богатство".
Откуда самородки в верхних пластах?
Те же "стары люди" разбросали или не подобрали.
Куда исчезла золотоносная жилка?
Полоз отвел золото.
Как оказалось золото внутри кварца? Змеевка прошла, на ее пути и остались золотые блестки и капельки.
Почему один рабочий гораздо "удачливее", "добычливее" другого?
Ответ напрашивается простой: "тайна сила" помогает. Чем-то приобрел ее расположение. Но чем?
При ответе на последний вопрос явственно выступает вторая нагрузка "тайной силы" сказов.
Условия труда в горе в крепостное время были самые тяжелые. В сущности это была самая тяжелая форма каторги, из которой выхода вовсе не было. В таких безвыходных условиях крепостные горнорабочие могли мечтать лишь о помощи со стороны непонятных им "тайных сил". В результате Хозяйка горы, Полоз и все их слуги из безразличных хранителей недр превращаются в силу, дружественную горнорабочим и определенно враждебную. противодействующую барину и всем его прислужникам. Естественно поэтому, что в таких сказах появляется много крайне

непонятного и невыгодно для заводского начальства. Сказы начинают преследоваться, и поэтому они становятся "тайными": их передают тайком от начальства, которое обычно изображается в сказах в довольно непривлекательном виде.
Можно думать, что у "тайной силы" сказов была еще одна нагрузка.
Заводское начальство крепостного времени по своей грамотности стояло не выше рабочих. Оно тоже верило в существование "тайных сил". Поэтому рабочим иногда можно было прикрыться этими "тайными силами". Например, в сказах отмечалось, что в руднике "людей не пороли". Мотивировалось это боязнью начальства лютовать во владениях Хозяйки горы. Нарушивший этот обычай приказчик понес заслуженное наказание. Причем смерть приказчика и обстоятельства, ей предшествующие, так и тянут сказ к другой, совершенно реальной концовке: "Может, рудничные сами все это подстроили и приказчика в рудничную зелень затоптали, а на Хозяйку одна слава пущена". Такое же примерно положение в сказе "Две ящерки". Там из рудника исчезает прикованный цепями рабочий, потом он появляется в заводе, замораживает печи в медеплавильне и после этого совсем скрывается. Объясняется это чудесным содействием Хозяйки горы, но легко предположить и другое.
"Пустить славу на Хозяйку" рабочим было выгодно и потому, чтобы отвести от себя наказание, и потому, чтобы поддержать и укрепить у невежественного заводского начальства суеверный страх перед "тайными силами", которые помогают рабочим.
Хмелинин не был единственным рассказчиком "тайных сказов" своего района, но бесспорно рассказывал лучше всех, кого мне приходилось слыхать.
Его огромный горняцкий опыт позволял ему встать выше старательских примет, поверий и всех подобных "тайностей". Старик относился к ним критически и никогда не засорял свои сказы "рогатыми лошадьми" и разной кладоискательский рецептурой. В силу этого в сказах оставалась лишь та исторически ценная часть фантастики, с помощью которой неграмотный горнорабочий прошлого пытался осмыслить непонятные ему явления геологии.
Отбрасывая кладоискательскую шелуху, порой насмехаясь над ней, Хмелинин зато очень живо изображал "тайну силу" как сознательную помощницу рабочих, однако далеко не всех, а только таких, кто не робел перед начальством, не унижался, не жадничал при удаче, честно выполнял свои обязательства перед товарищами по работе.
Большой жизненный опыт, живой ум и несомненный талант художника давали Хмелинину возможность легко и свободно вводить в сказы живые детали из жизни горняков, хорошо видеть и слышать героев своих сказов, в том числе и "тайную силу".
Хмелинин говорил, что "перенял сказы от своих стариков", и это было верно.
Он, конечно, слыхал еще в детстве все, что говорилось в Полевском заводе о земельном богатстве и его таинственных хранителях. Отбросив из этого материала кладоискательские "тайности" (приметы и рецепты), он принял на веру все остальное и строго его хранил. Когда, например, старику возражали по поводу "старой дороги", доказывали, что такой тут не могло быть, он все-таки отстаивал свое и, оказалось, был прав.
Эта особенность позволяет думать, что и другие исторические детали из периода колонизации завода, из времени Пугачевского движения так же верны. И вообще сказы кажутся историей, рассказанной крепостными горнорабочими, где отразилась не только беспросветно тяжелая жизнь горняка, но его наивная фантастика и его неясная мечта о каких-то иных временах, иных условиях жизни.
Сказы В. А. Хмелинина никем не были записаны, и это вполне понятно. "Настояще грамотных" в заводе тогда было совсем немного: доктор, учитель мужской школы, две учительницы мужской же школы и две - женской. Вот и все грамотные, кто мог произвести эту запись.

Была, правда, еще группа заводских служащих, но она по состоянию своей культуры не могла оценить сказы по достоинству. Большинство этих служащих были или вовсе малограмотные "практики заводского дела", или люди "с хорошим почерком и бойким счетом".
Управитель, надзиратель, лесничий были, конечно, чуть пограмотнее, но это уже было начальство, которое свысока смотрело на "старичонку- караульного".
Этим важным людям было не понять, что "неграмотный старичонка" с редкой глубиной прочувствовал и понял жизнь горнозаводского рабочего и, как подлинный художник, сумел передать ее и всю историю округа в образах гораздо ярче и правдивее, чем делали это официальные историки. Да, впрочем, Хмелинин и сам не стал бы рассказывать начальству или рассказал бы так, что записывать нельзя.
Раз мне удалось, притаившись за углом, у заводских магазинов, слышать, как старик рассказывал в присутствии начальства, и я рад, что это больше не повторилось.
Сказ о "Хозяйке медной горы" превратился в такую грубую похабщину, что мне до слез было обидно и за Степана и за Хозяйку, которые так нравились в этом сказе. Когда сказал об этом старику, он спокойно ответил:
- Так ведь тут надзиратель сидел. Разве при нем можно по-доброму-то сказывать? Не для них, подико, это сложено, не им и слушать.
Подобную же маскировку "худыми словами" мне приходилось наблюдать у сысертского песенника-импровизатора Н. Н. Медведева. Обычно скромный в быту и "воздержанный на язык", он всегда был нарочито грубым в своих песенных импровизациях, посвященных барину, заводскому начальству или попам.
Воспроизведенные по памяти, притом почти через полвека, сказы Хмелинина, конечно, потеряли ценность фольклорного документа. Неизбежно кое-что могло притти и от других сказителей и от производившего запись. И если даже в таком виде сказы были замечены и вызвали широкий интерес, то это лишь говорит о высокой значимости фольклора, связанного со старыми уральскими рудниками. Мне кажется, и теперь не поздно старательно собрать и самым внимательным образом обработать рассказы стариков около таких старых месторождений, как Меднорудянское, Быньговское и особенно Березовское и Мурзинское. Бывшая же Турчаниновская Медная гора настоятельно требует своей полной истории.
П. Бажов неизменно включал очерк "У старого рудника" во все издания "Малахитовой шкатулки", стремясь подчеркнуть в сказах их реально- историческую основу. Первый краткий вариант очерка, озаглавленный "У караулки на Думной горе", вошел в качестве предисловия уже в первое издание "Малахитовой шкатулки" (Свердловское областное издательство, 1939 г.), а затем во второе ("Советский писатель", 1942 г.).
В 1940 году П. Бажов развернул это предисловие в большой очерк, широко введя материал, рисующий горнозаводский быт конца прошлого столетия. Этот вариант первоначально был опубликован в альманахе "Уральский современник", э 3, 1940 г. Затем, начинав с третьего издания "Малахитовой шкатулки" (Гослитиздат, 1944), очерк "У старого рудника" сопровождал все последующие собрания сказов.